

## Pro memoria

БАЛИС СРУОГА (1896–1947)

### ЛИТОВСКО-СЛАВЯНСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА БАЛИСА СРУОГИ

**Марина Ивинская**

Библиотека музыки и искусств  
Центральной библиотеки г. Вильнюса

Минуло шестьдесят лет со времени ухода из жизни Балиса Сруоги, писателя и ученого, профессора Каунасского (1924–1940) и Вильнюсского (1940–1947) университетов. Подобно старшим современникам писателям-ученым Й. Мачюлису-Майронису, Ю. Тумасу-Вайжгантасу, В. Креве-Мицкявичюсу, В. Миколайтису-Путинасу, Сруога был литуанистом-компаративистом, рассматривавшим ускоренное взаимодействие отечественной литературы с мировой в эпоху возрожденной государственности как закономерный и благотворный процесс. Его отличие от них – большая сосредоточенность на литовско-славянских связях, что во многом объясняется обучением в Петроградском и Московском университетах, а также в Мюнхенском с его традиционной ориентацией на изучение балто-славянских контактов. Научное творчество и педагогическая деятельность

Сруоги осмысливалась в работах Б. Масёнене (Masionienė 1978, 60–64; Masionienė 1983, 148–177) и А. Самулёниса (Samulionis 1978, 56–60; Samulionis 1986, 176–249). Предпосылкой дальнейшего изучения темы явилось издание 17-томного собрания сочинений писателя, предпринятое академическим Институтом Литовской литературы и фольклора к 100-летию юбилею Б. Сруоги (Sruoga 1996–2007, Т. 1–10). Ниже под компаративистским углом зрения рассматривается диссертация Сруоги по литовскому фольклору и его университетский учебник по древней русской литературе.

#### **Фольклорные параллели**

*Die Darstellung im litauischen Volksliede* – докторская диссертация, выполненная Б. Сруогой в Мюнхенском университете в 1923 г. под руководством профессора

Эриха Бернекера (Erich Berneker, 1874–1937), известного исследователя прусского и балтийских языков, славянского фольклора, редактора международного журнала “Archiv für die Slavische Philologie” (1923–1929). Первоначально тема диссертации формулировалась детальнее: *Die litauischen Volkslieder im vergleich mit den slavischen (polnischen, russischen, weißrussischen, ukrainischen) einleitung [Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis]* (R9<sup>2</sup>, 458–459). Ее начальный текст был написан на русском языке (R9<sup>2</sup>, 205–392, 459), затем был переведен на немецкий (R9<sup>2</sup>, 7–202, 457–461), сопровождается рефератом (R9<sup>2</sup>, 197–202) и реферативными статьями на латышском (Sruoga 1925; R9<sup>2</sup>, 395–417, 462–486) и английском (Sruoga 1932; R9<sup>2</sup>, 419–442; R9<sup>2</sup>, 443–456, 486) языках, которые публиковались в Риге (Sruoga 1925) и Лондоне (Sruoga 1932). На литовском языке исследование публиковалось под названием “Lietuvių dainos poetinės priemonės: Dainų poetikos metmena” в журнале “Tauta ir žodis” (Sruoga 1925, кн., 1–75; 1926, кн. 4, 187–231); в 1927 г. под названием “Dainų poetikos etiudai” с новым введением, дополнительным перечнем дайн и некоторыми поправками диссертацию выпустило издательство Гуманитарного факультета Литовского университета. Разновариантность изданной на разных языках диссертации демонстрировала широту и целеустремленность компаративистских намерений Сруоги, а именно – вписать науку о поэтике литовского песенного фольклора – в его определении *дайнологию* (dainologija) – в международный контекст. В соответствии с целями

настоящей статьи цитаты и отсылки приводятся по начальному варианту диссертации.

В кратком *Предисловии* (R9<sup>2</sup>, 207–208) Сруога поэтически формулирует задачу своего исследования как национально – и всеобщекмпаративистскую: «Мы, посвящая недосужие часы изучению лучших порывов – песен – малого народа, верим, что этим самым приближаемся, прокладывая одну из многосложных ступеней к узрению тайны сердца всего человечества» (R9<sup>2</sup>, 207). К этому поэту-ученый шел с начала своего творческого пути под влиянием неоромантического углубления в философско-мифологические и образно-символические тайны первозданной поэзии. Он переводит подражания и переводы К. Бальмонта из его книги *Зовы древности* (С.-Петербург, 1908): *Vedų himnų pirmpradybė, Okeanijos gelmių prošvaisčiūose, Peru kaitroj, Kinų verdenių gelmėse, Laotce* (R5<sup>1</sup>, 17–30, 766–769). Пишет обзоры о литовских дайнах в период обучения в Московском университете (1916–1918): *Основные мотивы современной литовской лирики и Основные элементы литовской литературы* (R6, 118–138, 139–191, 538–539). Собирает для инициированного М. Горьким «Литовского сборника» дайны, переведенные К. Бальмонтом, Вяч. Ивановым, Ю. Верховским (R9<sup>2</sup>, 217–218, 374)<sup>1</sup>. Более всего впечатляет Сруогу нарастающий интерес к творчеству М. К. Чюрлениса как гениальному выразителю национального и

<sup>1</sup> Позднее Б. Сруога расскажет об этом в своих воспоминаниях *Maksimas Gorkis ir lietuvių literatūra. Atsiminimų žiupsnelis* (R8, 494–515, 580–581).

общечеловеческого начал – опыты А. Белого, А. Скрябина. Н. Рериха, С. Маковского, В. Чудовского, объясняющие его своеобразие особой судьбой литовского народа. Суждением последнего, высказанным в эссе *М. К. Чурленис* («Аполлон» 1911, кн.3, март), Сруога открывал упомянутую статью о литовской лирике: «Этот народ совсем не пережил средневековья; быть может, он в гораздо большей степени еще, чем мы, русские, донес до XX века те исполинские силы арийцев к мистической жизни, которые так великолепно расточили в Средние Века наши Западные братья...» (R6, 118). В русском, немецком и литовском вариантах диссертации Сруога возвращается к этому суждению, пространно комментируя его (R9<sup>2</sup>, 233, 35–36; R9<sup>1</sup>, 34). За год до отъезда в Мюнхенский университет Сруога выступает с программным заявлением о необходимости вводить литовское искусство в международный контекст: “<...> dar mes neįstengiamė <...> padaryti mūsų meną tarptautiškai privalomu faktū – mūsų menas dar per daug naminis, šeimininis, lietuviškas! Ir čia mūsų kritikai milžiniškas uždavinys – ieškoti tų kelių, kuriais mūsų menas, išlaikydamas <...> tautinę percepciją <...>, taptų tarptautiškai privalomas faktas” (Sruoga 1922, 87–88; R6, 353). Его решение писать компаративистское исследование о поэтике дайн совпало с возвращением картин Чюрлениса (они хранились в московской квартире Балтрушайтиса) в Каунас, с признанием Сеймом Чюрлениса национальным художником и с постановлением о создании галереи его имени (30 декабря 1921; “Vyriausybės Žinios”, 1922, sausio 17, Nr. 78).

Обширное историографическое «Введение» (R9<sup>2</sup>, 209–222) представляет собою обзор международной дайнологии – понятия, утверждению которого в значительной степени способствовали труды Сруоги. Ученый обозначает основные ее этапы. 1. *История литературы литовских народных песен до Резы (Rhesa)*. Предположительно с конца IX в., определенно в западноевропейских и польских хрониках в XIII–XIV вв. и особенно в эпоху Просветительства, когда немецкие ученые, собиратели, поэты настолько продвинулись вперед, что «право “открытия” dainos всецело принадлежит германскому народу» (R9<sup>2</sup>, 211). 2. *Liudwig Jedimih (Martin Ludwig) Rhesa (1776–1840)*. Сборник Резы 1825 г. *Dainos*, снабженный немецким переводом, получал неизменно широкое признание и высокую оценку с момента выхода до начала XX в.<sup>2</sup> 3. *Труды германских ученых (после Rhesa) о “dainos”*<sup>3</sup>. 4. *Литература дайн на славянских языках*, где оцениваются польские исследования и сборники<sup>4</sup>, немного-

<sup>2</sup> Сруога ссылается при этом на письмо Бальмонта к Балтрушайтису, сопровождавшее перевод на русский язык нескольких резовских дайн. «Сборник, выражаясь словами К. Бальмонта, отражал изысканное благородство души, был ценнейшим импульсом к новым изысканиям в этой так мало исследованной области духа, обращая на него все более и более широкие круги культурного мира» (R9<sup>2</sup>, 212, 371)

<sup>3</sup> В особенности второй половины XIX в.: G. H. F. Nesselman, *Litauische Volkslieder, gesammelt, kritisch bearbeitet und metrisch übersezt*; A. Schleicher, *Handbuch der litauischen Sprache*; A. Leskien, *Litauische Volkslieder und märchen* и др.

<sup>4</sup> T. Narbutt, *Dieje starożytne narodu litewskiego*; J. Kraszewski, *Dajny*; L. A. Jucewicz, *Pieśni litewskie*; L. Potocki, *Dainos czyli pieśni ludu litewskiego*; O. Kolberg, *Pieśni ludu litewskiego*.

численные работы русских ученых<sup>5</sup>; 5. *Голландцы и финны о дайнах*<sup>6</sup>. 6. *Труды литовцев*<sup>7</sup>. Сруога называет основные явления после восстановления Независимости: учреждение Министерством народного просвещения особого журнала “Tautosaka”, оформление литовской научной дайнологии<sup>8</sup>.

Сопоставительный анализ поэтики дайн проведен Сруогой по следующим основным параметрам.

*Структура и рифмы (237–257)*. Сравнивая немецкие и польские песни с литовскими дайнами в аспекте утвердившегося в международной фольклористике деления песен на «искусственные», т.е. те, в которых ощущается «обработка», и «натуральные», Сруога к первозданным относит литовские *giesmės, dainos*. В польском же и немецком фольклоре преобладающими стали «искусственные» песни с их отмеченными еще Гердером и Гете «объективными» признаками поэтики: «<...> большее или меньшее постоянство текста и последовательность <...> тенденции к рифме» (R9<sup>2</sup>, 240). В тех случаях, когда данные свойства обнаруживаются в литовских песнях, например, в приво-

димых отрывках песен *Gyvenau ant svieta iš žmonių pričinios; O tai įsigijau nuodidžiausią bėdą; O kad Troškūnų klioštorių nuėjau*, очевидна полонизация. И, напротив, в приводимых отрывках из «натуральных» песен: *Per beržynėlį, per elgsnynėlį; Šia naktužė per naktužę dvaružis dundėjo; Krykštai, rykštai paukštyčiai; Gied volungiele* – «отсутствует забота о рифмах». «Как раз древнейшие песни, которые признаем таковыми по другим признакам, которые народная мудрость называет “senovinės dainos”, или “giesmės”, и рабочие песни, которые до сих пор сохранили свою первобытную свежесть, тенденции к рифмам не проявляют» (R9<sup>2</sup>, 244). Более того, полемизируя с А. Беззенбергером (A. Bezzenberger), Сруога заостряет: «<...> намеренная рифма в литовском народном творчестве является символом его декаданса» (R9<sup>2</sup>, 245).

Переходя к композиции народной песни, Сруога отмечает ее размытость, неустойчивость и видит в этом ее своеобразие: «Редко в народной песне выдержано рисуется единство образа, уже не говоря о последовательности или единстве действия и времени» (R9<sup>2</sup>, 245–246). Правда, «такое единство сохранено в песнях, которые носят более или менее повествовательный характер» (*Žirblytis, Vėsi mane barė, Aušrinė* и т.т.), но «процент таких песен очень незначителен, утопающий в море песен другой структуры, где цельного образа нет, где даются только отдельные контуры, разбросанные по радиальным направлениям, с какой-то невыразимой словами центростремительной силой стремящиеся к одной точке и, в конце концов, в синтезе, составляющие

<sup>5</sup> Ф. Фортунатов, В. Миллер, *Сборник 100 дайн*, изданный, как с сожалением отмечает Сруога, в 1872 г. гражданкой.

<sup>6</sup> R. van der Meulen, *Die Naturvergleiche in den Liedern und Totenklingen de Litauer*; A. R. Niemi, A. Sabaliauskas, *Lietuvių dainos ir giesmės šiaurietinėje Lietuvoje*, исследование о дайнах А. R. Niemi “Tutkimuksia liettualaisten kansanlaulujen alalta” на финском языке.

<sup>7</sup> S. Stanewicz, S. Daukantas, A. Juškevičius (труды которого *Lietuviškos dainos* и *Lietuviškos svotbinės dainos* стали «неисчерпаемым источником для дайнологов» [R9<sup>2</sup>, 219]), J. Basanavičius, J. Šliupas, V. Kalvaitis, J. Gudavičius.

<sup>8</sup> *Lietuvių dainų literatūros istorija* и др. труды В. и М. Биржишек.

одну картину» (R9<sup>2</sup>, 245–246). В качестве примера Сруога анализирует характерную песню *Kelk, kelk, brolyti* и обнаруживает в ней такую «смесь времен и действий», которая может быть объяснена как остаток древнего *эмебейного* исполнения песни и даже его сложения, согласно теории, изложенной А. Н. Веселовским в работе «Эпическое повторение как хронологический момент». Сруога цитирует ее итоговый фрагмент («древнее исполнение хором, с чередованием хора и запевалы или запевал; чередование двух хоров; антифонизм при двух или нескольких певцах; личное исполнение») и констатирует: «В литовской народной лирике все это еще живо сохранилось», а это означает, «что *giesmės* – один из древнейших и самых непосредственных видов литовской народной поэзии» (R9<sup>2</sup>, 247–248). *Строфы* (254–257). Напомнив положение В. Шерера (W. Scherer) о том, что «стих в народном творчестве – продукт личного творчества, а строфа – признак хорического исполнения песни» и применив его к литовской песне в сопоставлении с русской, Сруога пишет: «Если самым беглым взглядом сравнить, например, великорусские и литовские народные песни, то не может не бросаться в глаза принципиальная разница: в русских народных песнях строфа, как правило, отсутствует, в литовских, как правило, – существует» (R9<sup>2</sup>, 254). Для иллюстрации он сопоставляет две песни, разрабатывающие схожий мотив: «*Уж вы горы, мои горы...*» с «*Pas točūtę aigai...*» (R9<sup>2</sup>, 254–255). И далее приводит русскую песню «*Уж я мужнину угрозу в узелочек завяжу...*», чтобы показать, что

в ней цезура или «строфичность» той же природы, что и рифма в литовской народной поэзии: «выходит сама по себе – хорошо, не выходит – певец о ней не заботится». «В украинской народной поэзии, лирической по преимуществу, в противоположность великорусской, эпической по преимуществу, строфическая структура песни выступает на первый план» (R9<sup>2</sup>, 255–256). «Таким образом, примитивное построение песни, что можно было бы назвать зародышем песни, и стадия ее разложения обходятся без строф. Что касается хорового исполнения песни, то его природа уже такова, что ведет неизбежно к развитию строф. Например, в тех же великорусских песнях, исполняемых хором во время хоровода или пляски, строфическая структура – явная». Итог: «<...> *dainos* в подавляющем большинстве случаев представляют собой дальнейшее развитие *giesmės*, когда хоральность была забыта и песни стали петься в одиночку» (R9<sup>2</sup>, 257).

*Ритм* (258–271). Здесь также Сруога исходит из наиболее архаических текстов, не находя оснований для применения к ним метрической системы «искусственных» стихов, как это пытались сделать Rhesa, A. Ch. Bartsch, с теми или иными оговорками Nesselmann, A. Leskien. «Правила метрики взлелеяны искусственными стихами, народ их не знает, и если народной поэзии присущ известный ритм, то он совсем другой природы, чем в искусственных стихах» (R9<sup>2</sup>, 259–260). В поисках «источников для определения основ ритмики литовских народных песен» Сруога обращается к теории К. Бю-

хера (K.Bücher), изложенной им в работе *Arbeit und Rhythmus*, прилагая ее к очень разветвленной «трудовой поэзии» Литвы. Он анализирует ритм в разных записях «жерновой песни» *Oi liūdo, liūdo...*, «ткацкой» *Vai, kai ašėjau...* и, вслед за А. Р. Неми, А. Сабаляускасом и М. Биржишкой, открывает в названных песнях следы *натурального* ритма – подражание натуральному звуку. При этом многовековое развитие примитивной трудовой песни привело к усложнению как ритмов, – их организации, так и к обогащению звукоподражательного выражения действий. Если в основу типологии литовской песни положить «ритм действия», то обнаруживается исключительное ее разнообразие: *pašukų daina, linarūčio giesmės, rugiapjūčio giesmės, kviečių giesmės, šienapjūtės giesmės, šieną grėbiant, eitinės, žaislinės, lopšinės, sūpuoklių, maltinės-girninės, melžtinės, vandeninės, staklinės, laivinės* (R<sup>9</sup>, 265). В этих и многих других «явствует ритм действия, так сказать, натуральный ритм <...>. Для каждого образа действия свой напев, и народ их не смешивает, классифицируя свои напевы на: *giesmė, daina* и далее: *sutartinė, paduotinė, tabalainė, pliauškinė, suoma, laska, uolia, ralia, lala* и т.д.» (R<sup>9</sup>, 265–266).

*Припев* (272–283). И в этом разделе сохранена прежняя методика: напоминание о положениях авторитетнейших исследователей припева в песнях т.н. натуральных народов<sup>9</sup> и затем «приложение» к ним «исторической судьбы припева» в литовском народном творчестве. В конк-

<sup>9</sup> K. Bücher, O. Böckel, A. Bezzenberger, A. Веселовский, А. Афанасьев.

ретном случае речь шла о соотношении т.н. «бессмысленных слов», из которых на начальных этапах состоят песни, и появление, затем возрастание «осмысленных слов», которые «выселяют» «бессмысленные» в припев, который, в свою очередь, становится тоже «осмысленным», «сами припевы исчезают – остается чистая песня» (R<sup>9</sup>, 272–273). В литовском народном творчестве «сохранились счастливым образом все моменты судьбы припева», – подтверждает Сруога, иллюстрируя свой вывод большим числом примеров.

*Параллелизм* (283–302). Из солидной научной традиции изучения параллелизма в фольклоре Сруога берет за основу положение А. Н. Веселовского, сформулированное им в работе 1913 г. *Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля*: «Параллелизм покоится на сопоставлении субъекта и объекта по категории движения, действия как признака волевой жизнедеятельности». Из рассмотренных видов параллелизмов в литовской песне наибольший компаративистский интерес, на наш взгляд, имеет «параллелизм как эпическое средство». «В славянской народной поэзии, особенно великорусской и сербской, оба члена первоначального параллелизма часто развиваются до солидных размеров, сохраняя свой первичный характер, образует две грандиозных ветви одной и той же песни. Литовской народной поэзии такое разветвление тоже свойственно, но здесь, как и там, они служат эпической цели» (R<sup>9</sup>, 290). Например, в русской песне *Из-за лесу, лесу темново* первая часть параллели

выросла «далеко за пределы второй». В лирике развитие первой части параллели в ущерб второй – «неблагородная задача». «Литовские же песни по преимуществу лирические; в разросшихся частях параллели первичные признаки исчезают, как в песне *Du balandžiu klane gèrè*, где параллелизм держится не на аналогии действия, а на случайном глаголе *susdūmojo*» (R<sup>9</sup>, 291). Однако чаще параллели, содержащие описания природы, развиваются мало, ограничиваясь одной строфой, при этом вторая часть параллели дается развернуто (*Žali rugiai želmenuosa*). «В распространенных литовских «ветвистых» (*šakotosios*) песнях от «признаков первичной параллели не осталось и следа» (R<sup>9</sup>, 291); действие из жизни природы как бы исчезло – осталась «только человеческая жизнь» (*Ko liūdo mergytė*). Безусловно, в литовской народной поэзии встречаются стройные эпические параллели, не уступающие русским образцам. «Правда, русский параллелизм – ровнее, торжественнее, объективнее, литовский – мягче, нежнее. Но тот и другой – далеки от чистой лирики; в том и другом – повествуется, рассказывается (как в песне *Vaikštinėjo tėvutėlis pabarėmi*) <...> русский параллелизм – постояннейший из постояннейших признаков русского народного творчества, литовский, в таком чистом виде – редкий гость. И когда он приходит, лирика не может устоять против искушений эпика» (R<sup>9</sup>, 294).

Интересны и знаменательны аналитические сопоставления в последующих разделах: *Сравнение и эпитет* (302–315), *Метафорические построения* (315–327), *Специфические формы* (327–343). остано-

вились на последнем: *Символика* (344–369).

При описании особенностей символики в литовских дайнах Сруога обращается к определениям Р.Мюллера-Фрейенфельса (R. Müller-Freienfels) и Е. Аничкова, цитируя их труды. Ему представляются научно продуктивными те положения, которые фиксируют свободу обращения певца со сравнениями, ведущими к многозначности символических представлений и смыслов в сознании слушателей. Аналогично в литовской песне. «Символ не является неким строго определенным понятием <...> содержание его колеблется между целым рядом предметов, как например, *kukuojanči gegutėlė* – кукующая кукушка может символизировать и плачущую матушку, и плачущую сироту, и жалующуюся на свою долю молодую жену, и обиженную девушку. С другой стороны <...>, для одного и того же предмета, может быть несколько ходящих символов. Например, для жениха – *paukštelis, meletėlis, sakalas, berželis, raitėlis* и т.д. » (R<sup>9</sup>, 345). Для литовской народной поэзии наиболее характерны *семьи символов*, «где не только сам символ имеет более определенное значение и употребляется вне параллелизма или сравнения, но и его положение или действие имеет свое значение» (R<sup>9</sup>, 345). Далее Сруога прослеживает наиболее характерные случаи: «Семья *Vainikas*», «*Перстень*», «Семья *Kepurėlė*», «Семья *Žirgas*», «Семья *Putinas*», «Семья *Žylėlė*» (R<sup>9</sup>, 346–369).

Исследование сопровождается примечаниями (№№ 1–242, с. 370–392), имеющими, кроме пояснительного, и самостоятельное значение. В них находим крат-

кие или пространные аннотации практически всех известных фольклористике тех лет исследований по теме, а также дополнительный текстовый материал, почерпнутый из сборников литовских и славянских песен XIX – первых двух десятилетий XX вв.

В диссертации Сруога использовал европейские теоретические сопоставительные традиции с целью более глубокого и конкретного выявления архаической поэтики дайн и приданию ее описанию системности. Одновременно при сравнении с литовским дайнами поэтика славянских народных песен выглядит рельефнее, что сохраняет свое научное и образовательное значение.

### **В соотношении с историей Великого княжества Литовского**

В 1931 г. Балис Сруога на основе прочитанных им с 1924 г. в Литовском Университете лекций по древней русской литературе опубликовал *Rusų senoji literatūra* (Sruoga 1931) – первый и поныне единственный литовский университетский учебник в этой области. Он, как и посвященный XVIII – началу XIX в. второй том, а также лекции по новой и новейшей русской литературе, удовлетворил потребности гуманитарного образования национальной интеллигенции межвоенной поры<sup>10</sup>. В послевоенные четыре с половиной десятилетия, когда обучение осуществлялось по программам и посо-

---

<sup>10</sup> Названные выше работы Б. Масёнене и А. Самулёниса содержат ценные материалы и свидетельства об этом.

биям общесоюзного министерства, учебник Сруога выпал из вузовского обихода. Исследователям вопроса казалось, что он имеет лишь исторический и биографический интерес. И только после восстановления независимости, когда русистика и шире – славистика вновь стали частью гуманитарного образования и науки Литвы, интерес к учебнику Сруога начал приобретать адекватный характер именно как к учебнику национальному. Таковым его делает несколько особенностей.

Прежде всего, полнота представления древней русской литературы и академической науки о ней. Во Введении (*Ivadas*) Сруога противопоставляет особую заинтересованность литовской науки и общественности западной ситуации. На Западе знают и ценят, в основном, русских классиков второй половины XIX в. – Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова, в какой-то мере Пушкина, Гоголя, Тургенева, но почти не интересуются русским Средневековьем. Поэтому в их представлениях новая русская литература не имеет традиции (Vogüé 1897; Waliszewski 1900)). Разумеется, замечает далее Сруога, дело не в возможностях немецких или французских ученых, а в отсутствии общественного интереса в западных странах к древней русской литературе.

Как раз такой интерес, существовавший в литовском обществе всегда, в независимой Литве стал определяющим, поскольку укреплявшееся национально-историческое и культурно-художественное самосознание непосредственно сопрягало формирование с начала второго тысячелетия восточно-славянской и литовс-

кой государственности в течение семи столетий, вплоть до XVII в. включительно. Все это предопределило исключительную, не имеющую аналогий в университетских штудиях западных стран, полноту и тщательность изложения текстового, историографического, интерпретационного материала. В качестве предварительных выделяются темы: *Senosios rusų literatūros studijavimo sunkenybės; Senosios rusų literatūros tyrimo pradžia; Senieji rankraščiai; Paleografijos pagrindinės sąvokos; Rusų literatūros mokslo eiga*. В тексте учебника дается толкование русских литературоведческих и иных терминов, перевод названий, старых слов и выражений на литовский язык; сведения об ученых, чьи труды упоминает и комментирует профессор, включают, помимо оригинального написания фамилии имени и отчества, даты жизни; приведенная в конце Библиография практически исчерпывает главные исследования конца XIX – первых трех десятилетий XX вв.<sup>11</sup>

Другая важнейшая особенность труда Сруога – заявленная национально-литовская концепция истории древней русской литературы, придающая учебнику некоторую заостренность и полемичность. Профессор отталкивался от русских учебников: “Nėra tokio rusų literatūros istorijos vadovėlio, kuris daugiau ar mažiau atitiktų mūsų gyvenimo reikalavimą. Nebekalbant apie tujų rusiškų vadovėlių pobūdį – apie tai kalba bus vėliau – tenka pažymėti, kad jie siekia skirtingų, negu mūsų gyvenimo,

<sup>11</sup> Следует заметить, что большая часть этих изданий не учитывалась в университетских учебниках и программах советского времени.

uždavinių ir taikomi kitokiai visuomenei” (1, 6). При этом он имел в виду не гимназические пособия, в них “<...> viskas dėstoma labai populiariškai, medžiaga buvo nušviečiama taja šviesa, kurios buvo reikalinga imperijos mokykla” (1, 6). Из таких позиций исходил учитель каунасской русской гимназии А. Тиминскис, обвинивший Сруога в недостаточной научности и предвзятости. С точки зрения автора рецензии, профессор противопоставил Киевский период Московскому, а царское самодержавие России – королевскому абсолютизму Западной Европы (тогда как у них будто бы одна основа – преодоление феодальной раздробленности и создание централизованного государства). Этим Сруога, якобы, умалял культуру Московской Руси и тенденциозно интерпретировал такие ее памятники, как *Минеи Читьи* и *Домострой* (Timinskis 1932, 374–382, 515–522). Между тем, это было не умалением, а констатацией фактических различий старой русской и западноевропейской культур. Академическая русская наука, на которую Сруога опирался и ссылался, все это воспринимала как данность, разрабатывая проблемы древней русской литературы в большом и сложном контексте. Тем не менее, и этой серьезной науке Сруога адресовал предупреждение: “Nors man ir labai gaila, bet anksčiau apibrėžtuose rėmuose, beruošiant spaudai rašinį, ištiesi išsilaikyti man nepavyko. Bedėstant senosios rusų literatūros reiškinius man vis tiktai teko nekartą užimti gana skirtingą poziciją nuo tosios, kuri pačių rusų rašytuose rusų literatūros istorijos vadovėliuose buvo laikoma neginčijama, net neabejojama...” (1, 7). Почему? Дело в том, что авторы важ-

нейших российских исследований и университетских курсов трактовали развитие восточно-славянской словесности X–XVII вв. без достаточного знания и учета полифонической культуры ВкЛ и, вследствие этого, допускали прямолинейные обобщения. Сам Сруога хорошо знал традиции литовско-славянской компаративистики, заложенной в старом Вильнюсском университете, обогащенных затем в эпоху «Аушры» и в национальном движении начала XX в. Отсюда помещенное на первой странице учебника утверждение: “Rusų literatūra, kaip rusų kultūros pasireiškimas, tūkstančiai praicitės gyšių susijusi su mūsų kultūros reiškiniiais...” (1, 5), – воспринималось как важнейший принцип, которому автор намерен следовать в изложении материала.

Третья яркая особенность учебника Сруоги – синтез историко-социологического и эстетико-поэтического подходов. Он специально останавливается на этом во *Введении*, констатируя следование первой методологии в российских разработках и принципиальное преобладание второго подхода в западных исследованиях и пособиях. Синтез Сруоге удался – причем, в обоюдном заострении. Можно сказать: если историко-общественный и культурологический аспекты выявляются им зачастую даже более широко и подчеркнуто, чем в русских изданиях (причина этого в обостренном чувстве движения литовской истории и литовской культуры), то неуклонное стремление выделить и подробно рассмотреть наиболее значимые в художественном отношении произведения древнерусской литературы, определить поэтику твор-

чества крупных писателей и целых эпох реализовано им поистине впечатляюще – и в этом, несомненно, сказался его талант и опыт “mokslininko-poeto” (Tumas-Vaižgantas 1929, 185). Названные принципы Сруога последовательно реализовал в восьми разделах своего учебника, охватывающих три эпохи древней русской литературы: Киевский (1–3 гл.), Переходный (4 гл.) и Московский (5–8 гл.).

Киевский период рассмотрен полнее двух последующих. Сруога оценивал этот период чрезвычайно высоко в общественно-государственном и духовно-художественном отношении и уравнивал его с западно-европейским Средневековьем. В диссертации он глубоко изучил героический эпос киевлян (Sruoga 1927), ввел в литовский литературоведческий обиход понятие «былина» и даже употреблял термин «былинология» (R9<sup>1</sup>, 335). Сруога считал возможным соотносить былинный эпос Киева, его летописи и памятники с Литвой не только потому, что в них разнообразно отразились контакты Киевского государства с Литовским, но и по типологическим причинам. В книге, приуроченной к инсценизации в Государственном театре историко-эпической драмы В. Креве-Мицкявичюса «Шарунас», автор удостоверял историческую аутентичность заглавного героя с помощью параллели с центральным, связующим киевский и письменный эпос, образом князя Владимира, историчность которого утверждалась в памяти поколений художественными достоинствами: “koks buvo rusų bylinose Ilja Muromcas, kur net kniazius Vladimiras Šventasis tiek tėra gyvas, tiek jis skaidri Iljos Muromco herojišką žygių aidais” (Sruoga 1930, 16).

Изложение литературы киевского периода включено в общую историю словесности восточных славян с соответствующим историко-культурно-лингвистическим обоснованием в подразделах: *Rytų slavų giminės ir tautos; Kijevo valstybės įkūrimas; Krikščionybės pradžia Rusijoje; Senosios Rusijos gyvenimo ir literatūros bendras charakteris*. Кроме прочего, такой подход был чрезвычайно злободневен в межвоенный период, поскольку украинские и белорусские национальные меньшинства, их культурно-научные общества и издания в обстоятельствах напряженного поиска национальной идентичности склонны были абсолютизировать киевский период (см.: Ивинская 2005, 38–51). Придерживаясь более широкой теории А. Шахматова, Сруога ввел подраздел *Terminas: Rus', rusai*, разъяснил, что этот термин исторически и этнически отличен от понятий «Россия», «русские» и, исходя из этого, рассмотрел основные явления, тенденции, восточные и западные традиции, стили, жанры, а, главное, художественно подробно и ярко памятники Киевской Руси как общие для украинского, белорусского и русского народов: “...nereikia pamiršti, kad Kijevo Rusija, Kijevo valstybė buvo visiems rytų slavams kūrybinis gemalas, iš kurio vėliau išaugo velikorosai (dabar vadinami rusais), ukrainiečiai ir gudai, – kad jiems visiems tai buvo kultūros lopšys” (1, 17). В то же время, обдумывая исключительную сложность проблемы национально-государственных и духовно-культурных истоков украинского, белорусского и русского этносов и острый характер полемики об этом, Сруога исключил из названий всех трех,

посвященных Киевской эпохе, разделов слова «Русь», «русский»: *Rytų slavai ir jų literatūros lopšys, Kijeviečių vertimų literatūra, Kijeviečių originalioji literatūra*. Тем самым он оттолкнулся от т.н. «западнорусизма» и «малороссийства», понятий, умалявших национальное самосознание белорусов и украинцев (Цьвікевич 1929; Барабаш 1997).

При всей ориентированности профессора на разработки предшественников, кроме названных выше общих национально-исторических вопросов, обращает на себя внимание углубленное и в ряде случаев оригинальное рассмотрение содержания и поэтики крупнейших памятников восточно-славянской литературы, в особенности это касается интерпретации «Слова о полку Игореве». Профессор оспаривает традиционное жанровое обозначение памятника «Слово» и предлагает вместо него другое: «Песнь – Giesmė». Он ссылается при этом на жанровое обозначение в первом переводе на современный русский язык 1800 г. – «Ироическая пѣснь», а также на текст памятника, где ни разу неизвестный автор не употребляет термина «Слово»: “Atrodo, šį terminą bus įrašęs amžiam slenkant koks nurašinėtojas: pats autorius savo veikalą vadina pačiame tekste arba „pesnj“ (daina, giesmė), arba „povestj“ (apysaka), bet niekuomet nesako „slovo“. Jis ir negalėjo to sakyti. Jis buvo labai apsišvietęs rašytojas, jis puikiai žinojo, kad „slovo“ anuo metu buvo tam tikros, aiškiai apibrėžiamos literatūrinės formos pavadinimas” (I, 133). Сруога имел в виду и обще-европейскую средневековую традицию, когда европейский эпос назывался «песнь», что предопределило впо-

следствии переводы «Слова о полку Игореве» на европейские языки: например, в старых переводах на немецкий – “Igorlied”. Кроме того, «Слово» как жанровое обозначение не совмещалось с литовской литературной традицией: “Atsižiūrint lietuvių literatūros tradicijų, lietuviškai šis veikalas tinkamiausia vadinti Giesmė” (5<sup>1</sup>, 683–684; 1, 133–134). Не менее важны соображения Сруоги по поводу замены им слова «полк» иной лексемой – «поход»: “Polk – рѣкъ – рѣкъ – faktiniai dabar reiškia „pulkas“, būrys; seniau jis galėjo žymėti ne tik tai „pulka“, bet ir karo žygį, ir net kautynes. Tokiu būdu visas veikalo pavadinimas lietuviškai reikia tarti „Giesmė apie Igorio žygį“. Trumpoji lietuviška, spėjusi jau tapti tradicine forma „Igorio giesmė“ čia mažiau tetiktų: čia ji būtų per daug sumechaninta” (5<sup>1</sup>, 684; 1, 134).

Следует также обратить внимание на то, что Сруога, типологически сближая *Песню* с западноевропейским рыцарским эпосом, в конкретно-текстовом плане проводит параллель с *Хроникой* И. Длugoша, свидетельствующую, возможно, о знакомстве польского писателя с киевским памятником. “Lenkų rašytojas Jonas Długošas (1415–1480), aprašinėdamas lenkų karaliaus Leškos karą su Mstislavu Udalyju 1209 m. (tą karą lenkai pralaimėjo), vaizduoja rusų džiaugsmą, kurį jie esą reiškė garsiai šaukdami „O velikoje svetilo, pobeditelj Mstislav Mstislavič! O chrabryj sokol“ – „Švietuly didysis, nugalėtojai, Mstislave Mstislavičiau! O sakale narsusis!“ Šis karių džiaugsmą reiškiantis posmas prikišamai primena Giesmės stilių” (1, 149). В разделе *Vaizdavimo priemonės* Сруога, кроме суммирования традиционных представлений о поэтике памятника, аргументирует естественное соединение в

нем повествовательного и песенного начал, свидетельствующее о подчиненности фольклорных элементов профессионально-литературным.

Полтора десятилетия спустя Сруога перевел памятник, сопроводив его большой, повторяющей учебник, объяснительной статьей, дополненной обзором практически всех известных переводов *Слова* на иностранные и современный русский язык. В посмертном издании памятника в 1952 г. пояснительная статья Сруоги была заменена вступительной трактовкой Д. Лихачева, а в текст перевода внесены значительные изменения. В какой мере они принадлежат переводчику, а в какой степени редакторам – не ясно (R5<sup>1</sup>, 799–800). Предварительное сопоставление обоих вариантов переводов показывает, что в начальном *Giesmė apie Igorio žygį* Сруога стремился лексически, метафорически и интонационно использовать наиболее архаические элементы литовского языка, что подтверждало исследовательские характеристики, изложенные им в учебнике.

Эпохе, переходной между Киевской и Московской, профессор посвятил раздел *Sutemos gadyne (XIII – XIV a.)*. В начале раздела он напомнил историко-территориальные изменения: падение под ударами монголо-татарского нашествия Киевского государства и начало формирования на пространствах Северо-Восточных княжеств собственно русской этнической, языковой и культурной народности. В Западных же землях, вошедших в состав ВКЛ, началось формирование украинского и белорусского этносов с соответствующими

языковыми и культурными элементами. Стремясь к обоснованности и конкретности, прежде всего, лингвистических национальных накоплений, Сруога обратился к наиболее авторитетному, по его мнению, историку русского языка – А. Соболевскому и, опираясь на его исследования, предельно сжато изложил те элементы, “kurių neturi nei gudai, nei ukrainiečiai” (1, 16)<sup>12</sup>.

Профессор описал основные литературные явления эпохи: проповедническую, историографическую, агиографическую, выделив из последней *Моление Даниила Заточника*. Сопоставив интерпретации предшественников, Сруога предложил свои соображения о названии, авторе, дате написания, редакциях, толковании слов «моление», «заточник»; высказывал оригинальные суждения о притчеобразной форме повествования, о сочетании высокой книжности с нарочитой грубостью, интеллектуальности с самоиронией и сатирой на «чванливых бояр». Характеризуя летописания, хронографы различных Северо-Восточных княжеств, Сруога, с одной стороны, указывает на их связи с киевскими летописями, а с другой – обращает внимание на литовские элементы в них: например, в Хронографе 1262 г. “yra medžiagos apie lietuvių tikyba, kad šis chronografas buvo gamintas kaž kur Lietuvos Valstybėje ar bent Lietuvos pasieny” (1, 169). Украшают раздел

пересказы и толкования локальных преданий – той же *Легенды о граде Китеже (Legenda apie miestą Kitežą)*, получившей отклик в позднейшем русском искусстве. Раскрывает Сруога и своеобразие агиографической литературы «темных веков». Он анализирует творчество московского митрополита Киприана<sup>13</sup>, создателя *Жития Сергия Радонежского* и самого яркого представителя торжественного стиля Епифания Премудрого, утвердившего в русской традиции жанровые каноны жития Пахомия Лагофета.

После рассмотрения известных сказаний о татарском нашествии (*О разорении Рязани Батыем, О гибели Русской земли, Задонщина* и др.) Сруога посвятил отдельный подраздел воздействию татар на русскую жизнь – *Totorių reikšmė rusų tautai*. При этом профессор детально напоминает историю изучения вопроса<sup>14</sup>, фактические данные, их следствия и признаки в культуре – расовые, языковые, психологические, бытовые, моральные и общественные. Специальное внимание автор обратил именно на последние, выразившиеся несколько десятилетий спустя в деспотизме Иоанна IV – добавление к его имени эпитета «Грозный» восходит к укоренившемуся сопоставлению с деспотизмом татарских ханов.

Возникновению и развитию собственно московской древнерусской лите-

<sup>12</sup> В условиях непрекращающихся дискуссий в Литве и за рубежом эта проблема волновала профессора и позднее. Он дважды читал курсы по истории русского языка и полностью перевел *Историю русского языка* Соболевского (С.-Петербург, 1904) на литовский язык (рукопись хранится в писательском архиве LLTIR).

<sup>13</sup> До этого бывшего митрополитом в Киеве, за что, как пишет профессор, “Maskva ilgai dar į jį žiūrėjo su nepasitikėjimu, kaip į Vytauto Didžiojo agentą” (1, 182).

<sup>14</sup> Концепции А. Пыпина, А. Архангельского, М. Сперанского, Н. Костомарова.

ратуры (наряду с определявшимися в эти века на территории ВкЛ украинской и белорусской литературами) Сруога отводит главы 5, 6, 7–8, охватывающие соответственно XV–XVI и XVII столетия. XV век он представляет как переломный: киевская культура уже отжила свое, по крайней мере, на пространстве Северной Руси, и выступили черты новой, Московской культуры. Переход этот был длителен, противоречив, и поэтому профессор определяет общий характер переломного столетия словами одного из влиятельнейших аналитиков и публицистов эпохи – Иосифа Волоцкого: «шатание умов» – “protų svirdukuliavimas” (1, 239). Глава открывается двумя общими подразделами, характеризующими политическую жизнь возвышающегося Московского царства и его идеологию, которые автор учебника противопоставил аналогичным процессам в Западной Европе и Литве (подраздел *Maskvos kaimynai*) и подвел итоги: “Maskvos kultūrinis gyvenimas eina su obskurantizmo vėliava” (1, 196). Здесь Сруога акцентирует условия формирования принципа самодержавия: “Pati dvasininkija caro idealą sėmė iš trejopu šaltinių: a) biblijinio caro idealą – iš šventojo rašto; b) Bizantijos caro pavyzdys buvo juo įdomesnis, kad ji dvasininkija išventindavo ir kad jis pravoslaviją gynė; c) totorių chanas – „ordynskij car“, – kuris Rusijoje taip ilgai šeimininkavo, ir kurio pavyzdžiu sekė Maskvos kniazius ... iš tokių trejopu šaltinių ir buvo sudarytas Maskvos caro idealas” (1, 198–199).

Историко-политический, по преимуществу, подход обусловил основные оценки и характеристики культурной жизни Московского государства, а также

систематизацию и интерпретацию главных общественных и литературных явлений. Они объясняют возвращение к традициям Византии; восприятие Флорентийской церковной унии (1439), объявившей неприемлемым объединение греческой и латинской церквей; падение Византии как Божию кару за унию с Римом; объявление Москвы новым центром православия. В подразделе *Maskvos idealai ir jų saugojimas* профессор подробно рассматривает *Послание к царю и великому князю Василию III псковского монаха старца Филофея* и подробно комментирует главные его положения: “Dvi Romos žuvo, o trečioji (Maskva) stovi ir ketvirtosios nebebus, – kad žlungant trečiajai Romai-Maskvai – turės neišvengiamai ateiti pasaulio galas” (1, 199). Вывод из комментария категоричен: “Maskvos imperializmui ir obskurantizmui arginti dvasininkija pasikvietė į pagalbą patį Dievą” (1, 201). Однако подобная констатация позволяла рельефнее описать нарастание религиозных противоречий и противостояний в церковной жизни и ее литературных отражениях. С одной стороны, появляется т.н. церковная аристократия с ее близостью к власти и соответствующими духовно-публицистическими произведениями (Савва, Зосима, Геннадий, Josif Sanin-Volockij-Volokolamskij), а с другой – ширившиеся ереси (“Strigolniki”, “Žyduojančių erezija”) и их литература. Последним Сруога уделяет наибольшее внимание как бескомпромиссной оппозиции официальному православию и наиболее глубокому духовно-культурному явлению.

Название главы о XVI столетии “Argverusi senovė” – “Poisšatavšajasia starina”,

также как и название предыдущей главы, не является неологизмом и не несет, как может показаться, преимущественный оценочный смысл. Профессор писал: “Poisšatalas’ starina“ – „išgvero senovė“ – pareiškė Jonas IV jo paties sušauktame Maskvoje sobore, kurio uždavyns buvo – atitaisyti dabartyje senovė” (1, 239). Сруога имел в виду следующие слова Иоанна Грозного, сказанные им участникам Собора 1551 г.: «<...> а которые обычаи въ прежние времена <...> поизшталося, или въ самовластїи учинено, по своимъ волямъ, или преданїа законы порушены <...> о всемъ о семъ довольно себѣ духовнѣ побеседуйте и посовѣтуйте...» (*Стоглав* 1863, 39–40)<sup>15</sup>.

Разительно обнаружившиеся в эпоху царствования Иоанна IV расхождения путей развития Русского государства с тенденциями формирования не только государств Западной Европы, но и тех, с которыми оно граничило и общалось непосредственно – Литвой и Польшей, в заостренном виде определились в переписке Иоанна Грозного и Андрея Курбского. Этой переписке как ярчайшему памятнику эпохи Сруога уделил особое внимание. При этом, разделяя взгляды князя Курбского, он обращает внимание на большую колоритность в художественно-стилевом плане писем Грозного<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Издатели *Стоглава* так комментировали во «Введении» эти слова царя: «Не всю жизнь человека XV-XIV века обнимает «Стоглав» – а только те стороны, которые *поисшталось* – и требовали, по Московским понятиям, утверждения; а *поисшталось* тогда чуть-ли не все важнейшие явления общественной жизни в наших древних нравах и обычаях народных» (*Стоглав* 1863, 9).

<sup>16</sup> Следует также обратить внимание на то, что в библиографии Сруога рекомендует книгу Н. Ива-

Возникшие в атмосфере отталкивания от Запада, замкнутости и тотальной ориентации на выражение и поддержку абсолютизма, такие памятники эпохи, как *Стоглав*, *Великие Минеи Четы*, *Степенная книга*, *Домострой*, обличительные писания Максима Грека, свидетельствовали о том, что и в области культуры Россия пошла по иному, нежели Западная Европа, Литва и Польша пути. Возрождение в России не состоялось, реформационно-гуманистические движения в XVI в. были подавлены. Подозрительное отношение к беллетристическим сочинениям, объявленным «неполезными», серьезно задержало художественное развитие. Но оно, как отмечает автор учебника, не прекратилось. Сруога указывает на качественные изменения в публицистических, исторических, юридических, агиографических, просветительских памятниках. Прежде всего, на их экспансионизм. В *Великие Четы Минеи* были включены жития святых, возникших на территориях, не входивших в Московское царство и Московскую патриархию. Централизованные Московские летописи приобрели вид родословия московских царей, распространенного далеко вглубь не только истории Руси (*Степенная книга царского родословия*). *Домострой*, имевший целью привить основы образования и культуры обществу и, прежде всего, подрастающему поколению, вступал в

нишева *Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни* (Киев, 1849), где анализируется *История о Великом князе Московском*, написанная Курбским во время литовско-польского «бескоролья» 1573 г. и имевшая определенную политическую цель: не допустить избрания Иоанна IV на литовско-польский престол.

противоречие с естественными представлениями человека о жизни, должном, личном, т.е. со всем тем, что явилось основой трех литовских Статутов, объективно контрастировавших с *Домостроем*.

Заключительному столетию древней русской литературы Сруога посвятил два раздела: *Ant naujovės slenksčio*, в котором оживившееся литературное движение было связано с непосредственным влиянием литовско-польской и украинско-белорусской литератур, и *Beletristikos pradodaila*, где возникновение русских оригинальных жанров повести и романа Сруога объясняет благотворным воздействием западно-европейских литературных источников. По преимуществу «литературный» XVII в. (в отличие от двух предыдущих «политических») позволял профессору полнее выявлять собственно-художественные следствия исторических событий, общественных и религиозных явлений.

Исторический очерк о династическом, государственном, общественном распаде начала XVI в., который Сруога называет “*Karū visų prieš visus*”, он сопровождает важным в тенденциях и интересным в подробностях описанием литературы «Смутного времени». Приход к власти через убийство Бориса Годунова, поход на Москву Лжедмитрия I, воцарение Василия Шуйского сопровождалось широким распространением «воззваний», «грамоток», «отписок», свидетельствованных о небывалом возрастании значения художественно украшенной публицистики в политических событиях. Одновременно подобная «украшенная публицистика» обращалась, главным образом,

к низам, пробуждая в них возможность свободного участия в одном из противоборствующих движений. Все это, по мнению Сруоги, вызвало к жизни т.н. повести о «Смутном времени», которые он назвал “*pusiau beletristika, pusiau publicistika*”. В отличие от соответствующих описаний в «историях» и монографических исследованиях русских ученых<sup>17</sup>, Сруога высоко оценивает подобные произведения, живописно их пересказывает, обращая при этом особое внимание на различные, «пролитовские» или «промосковские» позиции их авторов.

Глубоко изложил профессор потрясший Россию религиозный раскол и порожденную им литературу. При всей официозности, церковные реформы патриарха Никона отчасти опосредовано следовали реформаторским и контрреформаторским движениям на Западе. Однако и оппозиционное антиниконовское движение (старобрядчество) Сруога рассматривает в контексте непримиримого противостояния власти и исхода раскольников на Северо-Запад и в Литву. Ряд памятников о великом расколе профессор назвал и фрагментарно проанализировал, уделив при этом главное внимание жизни и сочинениям Протопопа Аввакума.

Интерес к личности и творчеству Аввакума у Сруоги во многом определялся убеждением, что самые глубокие проникновения русской литературы XIV–XVII вв.

<sup>17</sup> Например: С. Ф. Платонов, *Древне-русские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник*, С.-Петербург, 1888.

в национальную стихию и национальный характер были связаны с многообразными религиозными ересями. Именно поэтому он настойчиво проводил мысль о том, что протопоп Аввакум как личность и как писатель оказал несомненное влияние на позднейшее славянофильство, Достоевского, Толстого и особенно Лескова<sup>18</sup>. Это убеждение, предварительно высказанное во *Введении* (1, 13), здесь прослеживается на уровне поэтики, наблюдения над которой, как обычно у Сруоги, оригинальны и убедительны. Например, наблюдение о слиянии в стиле автобиографического *Жития* подчеркнутой реалистичности, передаваемой простым, нередко грубым языком, с яростной полемичностью, пронизанной глубокой сердечностью; открытие в таком стиле *Жития* рафинированных ассоциаций с древнегреческими источниками.

Восприятию московской культурой украинско-белорусско-литовского Ренессанса Сруога посвящает отдельные подразделы: *Svetimšaliai ir Kijeviečiai, Kijevo renesansas ir Maskva*. На первом плане – констатируемое им противоречие: официально всячески поддерживаемое общественное и культурное отталкивание от усилившегося во время интервенции Лжедмитрия западного влияния и, с другой стороны, понимание необхо-

димости модернизации, следствием чего восприятие западных веяний становилось неизбежным. Дилемму эту Сруога формулирует следующим образом: rusai “ieško pagalbos ir suranda ją Lietuvoje ir rytų gyvenamose žemėse, įėjusiose į Lietuvos valstybės sąstatą – Ukrainoje ir Gudijoje ir iš čia ... pradeda skverbtis į Maskvą” (1, 307).

Иллюстрации этого процесса многообразны, конкретны и красноречивы потому, что прослежены на биографическом и творческом уровнях многих писателей, просветителей, религиозных и культурных деятелей, чьи судьбы оказались связанными как с ВкЛ, так и с Московским государством. Сруога, как всегда, концентрирует внимание на талантливейшей и значительнейшей фигуре – Симеоне Полоцком, воспитаннике Киево-Могилянской и Вильнюсской иезуитских академий, перенесшем на московскую почву литовско-польское барокко, «школьный» театр и силлабическое стихосложение, открыв тем самым историю русского профессионального стихотворства.

Таков первый том *Rusų literatūros istorija* Балиса Сруоги. Реализованная в нем литовская концепция развития древней русской словесности актуальна для филологической науки и университетского образования как современной Литвы, так и России: вне национальных интерпретаций история русской литературы не может быть понята как явление общеевропейское и мировое.

---

<sup>18</sup> О последнем уже после издания своей *Истории русской литературы* он дважды будет читать специальные курсы и подготовит о нем монографию.

## ЛИТЕРАТУРА

- Барабаш 1997 – Барабаш Ю. Я., «Сиамские близнецы. Западнорусизм и малоросийство в национальном самосознании белоруса и украинца», *Русь – Литва – Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии*, Москва, 1997.
- Ивинская 2005 – Ивинская М., «Изучение старобелорусской и староукраинской литературы в Литве между двумя мировыми войнами», *Literatūra* 2005, № 47(2).
- Цьвікевич 1929 – Цьвікевич А., «Западнорусизм». *Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в.*, Мінск, 1929.
- Masionienė 1978 – Masionienė B., “Balys Sruoga – Vilniaus universiteto rusų literatūros profesorius”, *Literatūros istorijos ir teorijos metodologinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto 400 metų įkūrimo sukakčiai pažymėti, programa ir pranešimų medžiaga*. 1978 m., gegužės 11–12 d.d., Vilnius, 1978.
- Masionienė 1983 – Masionienė B., “Balys Sruoga – rusų literatūros profesorius”, *Masionienė B., Literatūrinių ryšių pėdsakas*, Vilnius, 1983.
- Samulionis 1978 – Samulionis A., “Balys Sruoga – Vilniaus universiteto profesorius”, *Literatūros istorijos ir teorijos metodologinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto 400 metų įkūrimo sukakčiai pažymėti, programa ir pranešimų medžiaga*. 1978 m., gegužės 11–12 d.d., Vilnius, 1978.
- Samulionis 1986 – Samulionis A., “Profesoriaus darbas”, *Samulionis A., Balys Sruoga*, Vilnius, 1986.
- Sruoga 1922 – Sruoga B., “Keli žodžiai”, *Skaitymai*, T. XVII, 1922, p. 87–88; R6, 353.
- Sruoga 1925 – Sruoga B., “Lietuvju dainu simbolika”, *Ritums*, Ryga, 1925, Nr. 2, Nr. 3.
- Sruoga 1927 – Sruoga B., “Bylinų aiškinimo teorijų apžvalga”, *Lietuvos Universiteto Humanitarinių mokslų Raštai*, Kaunas, 1927, kn. 2, p. 17–67.
- Sruoga 1930 – Sruoga B., “Šarunas” *Valstybės teatre*, Kaunas, 1930.
- Sruoga 1931 – Sruoga B., *Rusų literatūros istorija*. T. 1. *Rusų senoji literatūra*, Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių Mokslų Fakulteto leidinys, Kaunas, 1931.
- Sruoga 1932 – Sruoga B., “Lithuanian folk songs (dainos), Lithuanian song (daina) literature”, *Folk-Lore*, London, 1932, T. 43, Nr. 3, p. 301–324, 324–337.
- Sruoga 1996 – 2007 – Sruoga Balys, *Raštai*, Septyniolika tomų. LLTI. 1996–2007. T. 1–10.
- Стоглав 1863 – *Стоглав*, С.-Петербург, 1863.
- Timinskis 1932 – Timinskis A., “Rusų literatūros istorijos reikalai”, *Vairas*, 1932, Nr. 4, Nr. 6.
- Tumas-Vaižgantas 1929 – Tumas J., “Balys Sruoga (Viktoras Žadeika); Kipras Petrauskas”, *Vairas*, 1929, Nr. 2.
- Waliszewski 1900 – Waliszewski K., *Litterature russe*, Paris, 1900.
- Vogüé 1897 – Vogüé de E. M., *Le roman russe*, 4 éd., Paris, 1897.

## BALIO SRUOGOS LIETUVIŲ-SLAVŲ KOMPARATYVISTIKA

### Marina Ivinskaja

#### Santrauka

B. Sruogos disertacija “Die Darstellung im litauischen Volksliede” (München 1923) ir vadovėlis “Rusų senoji literatūra” (Kaunas 1931) nagrinėjami komparatyvistiniu aspektu. Sruoga nuosekliai išaiškina lietuvių ir slavų (rusų, lenkų, ukrainiečių, baltarusių) liaudies dainų poetikos paraleles: struktūrą ir rimą, ritmą, refreną, paralelizmo tipus, palyginimus ir epitetus, metaforines konstrukcijas, simboliką. Europietiškos teorinės ir lyginamosios tradicijos panaudojimas, leido atskleisti dainų poetikos archaiškumą ir ją susisteminti.

“Rusų senoji literatūra” – pirmas ir kol kas vienintelis vadovėlis, kurio ypatumai nulemia didėjanti

jo aktualumą. Tai yra: 1) išsamus Senovės Rusijos raštijos ir istoriografijos apie ją pateikimas; 2) senosios rusų literatūros nagrinėjimas istoriniame ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės polifoninės kultūros aspektuose; 3) istorinio-sociologinio ir estetinio-poetinio traktavimo sintezė – čia pasireiškė mokslinis ir poetinis Sruogos talentas; 4) specifinės rusų viduramžių raštijos tradicijos įtraukimas į Lietuvos mokslinę, švietimo ir kultūrinę apyvertą (vertimai ir transkripcijos, rašytojų, knyginkų pavardžių, kūrinių pavadinimų, senųjų rusų žodžių ir posakių, literatūrinių ir kitokių terminų lituanizavimo variantiškumas).

Marina Ivinskaja

Summary

The article considers the “Die Darstellung im litauischen Volksliede” (München 1923) dissertation by B. Sruoga and his university manual “Rusų senoji literatūra” (Kaunas 1931) in the comparative aspect. The usage of European theoretical and comparative traditions helped to reveal greater archaism typical for the poetics of dainas and systematize its description. At the same time if compared with Lithuanian dainas, the poetics of Slavic folk songs become more apparent. “Rusų senoji literatūra” is the first and the only

manual in the field, the increasing relevance of which is predetermined by the following factors: 1) the manual provides the complete picture of old Russian literature as well as historiography on it; 2) it reveals the Lithuanian national idea and the acceptance of Russian literature links with the polyphonic culture of the Great Principality of Lithuania; 3) it combines historical and sociological approach with aesthetic and poetic one, which proves the talent and the experience of Sruoga as an academic and a poet.

Получено: 2007, август

Принято: 2007, август

*Адрес автора:*

VCB Muzikos ir meno biblioteka  
Arklių g. 20, LT-01129 Vilnius  
E-mail: marinaivi@yahoo.com